

• Когда-то, очень давно, он был молод и крепок молодостью и крепостью хорошего металла. Когда-то ожидание доставляло ему огромное удовольствие. Он и жил-то ради ожидания. Ожиданием. А когда приближался редкий и оттого более прекрасный момент встречи с единственной, но всегда такой разной, от нетерпения и восторга, от воззвенного возбуждения он начинал даже гудеть. Тихонько, только ему одному и, может быть, еще Земле едва слышны, трепетным гулом.

• Теперь, вспоминая эту свою юношескую, пылкую восторг (юность всегда восторженна, если только не цинична), он все опасливо глядел в Небо. Часы, месяцы, годы ожидания.

• Высокие белоснежные Облака, низкие дождевые Тучи, свинцово-серые, лиловосиние... Сосчитать, сколько Туч и Тучек, легчайших перышек и ватных гор, видел он в долгую жизнь свою? Сосчитать невозмож но. Да и мысли такой никогда не возникали.

• Другое дело — Звезды. Эти блестящие булавочные головки, эти дыры, холодно просвечивающие сквозь черный дуршлаг ночного неба, гордые ночные соглядатаи, вы пересчитаны тысячи раз. Впрочем, вам это безразлично. Вечно и беспристрастно следите вы за теми, кто внизу.

• А внизу, в русле узенькой, тихой улички, текла другая жизнь. Внутри старых, обшарпанных домов, куда удавалось иногда заглянуть сквозь запыленные до серого окна, на ухабистой дороге, где поверх раздолбанной брускатки смурными, функционально-деловитыми дорожниками когда-то кое-как было брошено черное масло — асфальт. Тогда улица стала чище, аккуратнее, что ли. Строго. Но вскоре асфальт заселозил, он перестал быть маслом, превратился в корку, на которой вырос грибок грязи и мусора. Недолго боровшись с этой болезнью, корка местами облезла, как сгнившая на язвах кожа, обнажившая ткань, эти измученные камни бывшей мостовой, разъединенные тою же болезнью. Одно слово — раны.

• Но что же жизнь? Жизнь на улице была суевтина и малопонятна. Люди в ней метались, громоздили что-то, что он бы назвал бессмыслицами, упрямо извращали все, что знали, чему их подолгу учили, учили... Не примером, впрочем, но словами. Каждый из них хотел только "сам" и непременно "себе". Но "сам" оказывался глуп и слаб. Так они и жили. Рождались под присмотром звезд и вскоре умирали. А между рождением и смертью все кружили, кружили в небольшом своем хороводе и все глядели в землю, будто не было Неба над головой, будто звезды не ждали, что на них кто-нибудь взглянет и задержит взгляд...

• Однажды, не зная, что делают с людьми после смерти, он кощунственно смело предположил, что самое верное — закапывать их в Землю.

• Иногда он пытался соединить, хоть бы и в себе, степенность, неповторимость небесных картин и однообразное мелькание земной жизни. В упорстве сравнения несравнимого, в попытках соединить эти два мира в один, как и должно, кем-то когда-то утраченной связью, он терял чувство реальности. Размыкались и пропадали края собственного существования. Все менее ясен становился его смысл, все более непонятны предметы наблюдений. Необъяснимое происходило в эти мгновенья. Снова и снова приходил он к чerte, за которой, возможно, было понимание, и, всякий раз пугаясь неизвестного, поглощающего, казалось, отступал. Отступал, так и не ответив себе, почему же две половинки одного мира живут порознь. Да, ни разу в жизни он не узнал ни одного ответа. Но зато сколь много вопросов ему было дано узнать!

• Был ли он философом? По крайней мере, он был одинок. Чудовищно. Бесконечно. Как может быть одинок слепой, глухой и немой одновременно...

— Ах... Ну вот, — снова упустил какую-то важную мысль, о чем-то, равном устройству Мира. Позволявшую познать...

• Теперь, когда он оставил надежду найти потерянную, вожделенную связь, когда оставил такую близкую, но бесконечно далекую мечту самому стать этой жертвенной связью, все чаще стали из неведанного далека приходить таинственные мысли, значимостью своему больше, чем сама жизнь. Растворяясь они, будто приглашая нырнуть вслед за ними, так же незаметно, как появлялись, в немыслимо сокровенных глубинах души... Словно кто-то черной, беззвездной ночью на один свернувший миг лукаво приткрыл завесу, скрывавшую яркую, пеструю, волшебную ярмарку, освещенную ослепительным летним Солнцем. Виделось все ясно и отчетливо, вот только вспомнить, что видел... Видел. И знаю. Вот и все. А потом еще до-олго тлел где-то в сердце огонек —

• мали: в ожидании — томительном, мучительном, долгом — вся его жизнь. Объяснять отчаялся. Или не умел.

• Так ли это просто? Отнюдь. Если вы никогда не глядели в небо, где, играя, удивительно бесшумно сшибаются лбами клубящиеся громады, а к ночи Художник подливает чернила в лазурь и наигрывает звениющую мелодию безмолвия, едва касаясь пальцами небесного свода. И от этих касаний вскоре затягивается мерцающие звездочки нот. Но вы, вы, ни о чем не думая, помаленьку поднимаетесь все выше, выше, выше... И вот: эти разгоревшиеся уж ноты — прямо перед вами. Протяни руку — и пальцы коснись звезды, если не боишься укнуться. Если вы никогда не чувствовали, как необыкновенно, бесконечно легки и

— Ги-ги-ги-ги... — заразительно скрипела на ветру ржавыми петлями Дверца Слухового Окошка, которую оставили открытой две недели назад. С тех пор она очень редко умолкала, гогота и всех задевая без всякого повода.

— Наконец-то, дошло...
— Дурак-то оказался не безнадежным.
— Давно бы так...
— Давно бы...
— Давно...

Под очередным порывом ветра старики Громоотвод не устоял и сломался.

Никто из соседей: ни Флюгер, ни Столб, ни Дымоход, степенно выпускающий из себя облачка то дыма, то пара, несущие в себе самые разнообразные запахи, — никто не понял, что злосчастный товарищ их просто умер.

Как обычно, не услышав ответа на свои колкости да колючие похвалы, общество вновь вернулось ко своим привычным делам, перебрасываясь незначительными фразами, легонько поскрипывая на ветру. Все, как всегда, все, как обычно...

Только ветер по-помногу крепчал. Уж не метался, как неприкаянный, а гнал весь воздух все на юг, на юг, на юг... Скоро и Туча появилась тонкой темной полоской на краю Неба. Набежала, выросла, клубясь, затянула все Небо своей сине-коричневой, акварельной мутью.

Дети удивительно точно умеют рисовать грозовое небо — побольше красок смешать, да погуще, погуще... Красок не жалеть — тогда хозяйка грозы выйдет так, словно она сама, ее самая суть стекла, сплюзла невзначай, упала с неба на чистый лист бумаги. И вышла настоящей хозяйкой. Оттого хозяйка, что управляет бурей.

А Ветер? Нет. Ветер только щокит. Ломает, рвет. Вот, неистово хлопая Дверцей Слухового Окона, расколотил стекло. Влез в Дымоход, вдруг назад в Дом дымы и запахи. Загудел в проводах, силясь сорвать их со Столба.

Туча, любуясь со стороны этим разбоем, копила мощь, готовила свое действие.

Еще, еще... Чем большую силу накопишь, тем сильней будет удар, тем громче треск, будто рвется плотное полотно Ветра, приподняв крылья, хрюкало кричал. Раскатистое "Кар-р-р"казалось зловещим, страшным по сравнению с привычным писклявым "чикиньям".

Будет клинч", — подумалось отчего-то.

Когда-то он слышал такие слова. Когда? От кого? А Ворон взглядывал по сторонам, прислушивался — не ответят ли. И снова, вздыбив крылья, хрюкало кричал. Раскатистое "Кар-р-р" казалось зловещим, страшным по сравнению с привычным писклявым "чикиньям".

На противоположном берегу уложки появился мальчишка с рогаткой в руках. Он

кряхнул, как кот, выбирал позицию, поглядывая вверх, на Ворона. У маленькой витрины ломбарда (в которой рядами белых и ровных, как зубы, букв тихо скрипели надписи: "Всегда рады Вашим проблемам") стрелок замер, натянул резину...

Огромная гайка просвистела совсем рядом. Ворон подпрыгнул и, толкая крыльями воздух, заскользил прочь, непрестанно бранясь, видимо, в адрес стрелка. Где-то в соседних домах, засвеченных, посыпались стекла. Детский плач, истощенные крики. Затем все смолкли, и он почувствовал себя легко и спокойно.

Будто ничего не связывает его с Землей.

Будто не забыт он в нее давным-давно на

добрый два метра. Многие годы ссыпавшийся ржавой, болезненной трухой сварной шов перестал беспокоить. А был ли он,

шов, на самом деле?

— Поразительно, — снова думал он о своих соседях, сам не замечая, что больше не смотрит в небо, — поразительно, как мало я раньше понимал, насколько они все замечательны. Можно только восхищаться их трудом. Как хотел бы я чем-нибудь им помочь. Что-то полезное для них сделать...

— Смотрите!

— Смотрите все! Скорее!

— Да что случилось-то?

— Что, что?

— Что...

Вертлявый красавчик Флюгер, гордый

своим знанием частей света и очень от этого

важный, пальцем-стрелой указывал на

Громоотвод.

— Бородино не связывает его с Землей.

Будто не забыт он в нее давным-давно на

добрый два метра. Многие годы ссыпавшийся

ржавой, болезненной трухой сварной

шов перестал беспокоить. А был ли он,

шов, на самом деле?

— Поразительно, — снова думал он о своих

соседях, сам не замечая, что больше не

смотрит в небо, — поразительно, как мало я

раньше понимал, насколько они все замечательны. Можно только восхищаться их

трудом. Как хотел бы я чем-нибудь им помочь. Что-то полезное для них сделать...

— Смотрите!

— Смотрите все! Скорее!

— Да что случилось-то?

— Что, что?

— Что...

Вертлявый красавчик Флюгер, гордый

своим знанием частей света и очень от этого

важный, пальцем-стрелой указывал на

Громоотвод.

— Бородино не связывает его с Землей.

Будто не забыт он в нее давным-давно на

добрый два метра. Многие годы ссыпавшийся

ржавой, болезненной трухой сварной

шов перестал беспокоить. А был ли он,

шов, на самом деле?

— Поразительно, — снова думал он о своих

соседях, сам не замечая, что больше не

смотрит в небо, — поразительно, как мало я

раньше понимал, насколько они все замечательны. Можно только восхищаться их

трудом. Как хотел бы я чем-нибудь им помочь. Что-то полезное для них сделать...

— Смотрите!

— Смотрите все! Скорее!

— Да что случилось-то?

— Что, что?

— Что...

Вертлявый красавчик Флюгер, гордый

своим знанием частей света и очень от этого

важный, пальцем-стрелой указывал на

Громоотвод.

— Бородино не связывает его с Землей.

Будто не забыт он в нее давным-давно на

добрый два метра. Многие годы ссыпавшийся

ржавой, болезненной трухой сварной

шов перестал беспокоить. А был ли он,

шов, на самом деле?

— Поразительно, — снова думал он о своих

соседях, сам не замечая, что больше не

смотрит в небо, — поразительно, как мало я

раньше понимал, насколько они все замечательны. Можно только восхищаться их

трудом. Как хотел бы я чем-нибудь им помочь. Что-то полезное для них сделать...

— Смотрите!

— Смотрите все! Скорее!

— Да что случилось-то?

— Что, что?

— Что...

Вертлявый красавчик Флюгер, гордый

своим знанием частей света и очень от этого

важный, пальцем-стрелой указывал на

Громоотвод.

— Бородино не связывает его с Землей.

Будто не забыт он в нее давным-давно на

добрый два метра. Многие годы ссыпавшийся

ржавой, болезненной трухой сварной

шов